

Дмитрий БАВИЛЬСКИЙ

ФИЛОСОФИЯ НА ДОВЕРИИ

Рэй Монк. Витгенштейн. Долг гения. Перевод с английского Анны Васильевой. Научная редакция и примечания Валерия Анашвили. – Москва: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2019. – 624 с. – (серия «Интеллектуальная биография»)

Когда в 1942-м Витгенштейна спросили, сколько людей понимают его философию, он после некоторого размышления ответил, что двое. Один из них – Гилберт Райл, а вот второго он не назвал, так что вакансия понимателя витгенштейновских текстов, видимо, до сих пор свободна.

Дальше больше. Точнее, еще меньше. Незадолго до смерти Витгенштейн позвал к себе Нормана Малькольма, чтобы, страница за страницей, прочесть с ним, сначала по-немецки, а затем, в собственном переводе, по-английски, каждое предложение того, что он называл последней своей книгой.

«“Причина, по которой я это делаю, – объяснял Витгенштейн, – в том, что должен быть хотя бы один человек, который поймет мою книгу, когда ее издадут...”»

В записных книжках Витгенштейна того времени Рэй Монк выделяет фразу об ощущении тотального интеллектуального одиночества: «То, что я пишу, – это почти всегда монолог, обращенный к самому себе. То, что я говорю самому себе с глазу на глаз» (528).

Чем лучше делаешь свою работу – тем меньшему количеству людей она нужна. И даже развитие звукозаписи способно вызвать у Витгенштейна лишь приступ дополнительной печали. «Это так характерно, что когда механизмы воспроизведения столь значительно улучшаются, остается все меньше и меньше людей, которые знают, как играть музыку...» (543).

Логико-психологические выкладки Витгенштейна хоть и стремились всю жизнь к объективности, к полной объективизации, но так ведь и остались междисциплинарным способом индивидуального мышления – сколь оригинального, столь и одинокого, и потому малопонятно. Что, в общем-то, совсем не мудрено, учитывая переусложненность и максимальную отвлеченность материй, над которыми он думал.

Помимо естественных сложностей, возникающих внутри максимально точного изложения логических цепочек, лежащих в основе восприятия мира, отражающегося в сознании и, следовательно, в языке, есть в витгенштейновском способе мыслить еще и масса субъективных сложностей.

Например, наличие собственного словаря, в котором привычные понятия (гештальт, думание, видение) имеют нестандартные значения. Оказывается, это именно Витгенштейн начал говорить о грамматике различных видов и сфер деятельности, предлагая различать закономерности автономных устройств разных жизненных явлений.

Витгенштейн, рассуждавший о структурном тождестве мира и языка, пытался построить такие мыслительные структуры, где возникало бы минимальное количество противоречий, как внутренних, так и внешних. Кажется, главная его задача, все многолетние муки и пытки, именно в такой невозможной безупречности и заключаются.

Когда-то это называлось «аналитической философией», теперь же весьма напоминает деконструкцию.

Витгенштейн вечно был недоволен плодами своих трудов, постоянно переписывал тексты, образующие этапные книги (мыслил он, правда, не книгами, но отдельными записями в блокнотах, постфактум объединяемых в сборники итоговых выкладок), из-за чего все они имеют массу промежуточных вариантов при отсутствии канонических и окончательных версий. Кажется, ни одно издание, даже «Логико-философский трактат», сделавший его знаменитым, Витгенштейна не устраивало, ибо устаревало еще до выхода в свет. Уже в процессе самого письма.

Отчасти это схоже с музеефикацией перформанса, от которого остались только невыразительные материальные следы и документация. Витгенштейн, скорее всего, был ценен не как сочинитель головокружительно сложных текстов, проделавший весьма показательный многолетний путь от предельной логики к тотальной иррациональности, но, прежде всего, сам по себе, как машинка, порождающая нестандартные мысли и ходы.

Рэй Монк педалирует тему постоянных изменений в размышлениях философа, который думал быстрее, чем писал, из-за чего, не успев начаться, книги его, возьмем ли мы «Логико-философский трактат», от которого Витгенштейн быстро отсекся, или же «Философские исследования», постоянно трансформировались. Прорастали изнутри какими-то новыми ответвлениями.

И вряд ли в истории европейской философии новейшего времени есть более эзотерические и замкнутые на себе тексты. Идеал, который нес в себе Людвиг, пытаясь воплотить его в предельно сжатых формулах, сочащихся суггестией, по определению недостижим. Он проступает на страницах статей и книг в первом, максимально огрубленном, приближении. Поэтому вряд ли мы способны узнать, что же Витгенштейн нес в себе на самом деле и насколько он сумел приблизиться к центру этих своих прозрений.

Но именно оттого-то труды Витгенштейна и создают такие прекрасные возможности для трактовок и бесконечных интерпретаций, без которых, кажется, они существовать не умеют – так уж затейливо устроены, более всего иного напоминая модернистские стихотворения (скажем, Хлебникова или же Элиота), ну, или же опусы Антона Веберна, его земляка из нововенской композиторской школы.

Хотя Рэй Монк пару раз и проводит параллели между методом Витгенштейна и Арнольда Шенберга с изобретенной им 12-тоновой додекафонией, мне кажется, что более точной будет аналогия именно с Веберном. Немногочисленные сочинения его, во-первых, достаточно коротки, а во-вторых, максимально насыщены, словно бы каждое мгновение звучания своих опусов Веберн хотел довести до предельно концентрированного состояния универсального афоризма. В каждой ноте которого, точно в «Черном квадрате» Малевича, зашифровано бесчисленное количество движений и изображений, аллюзий и реминисценций, потенциального, до времени непроявленного смысла.

Другое дело, что Шенберг был первооткрывателем метода, тогда как Веберн учился у него, вместе с Альбаном Бергом, примерно так же, как юный Людвиг приехал из Вены в Кембридж учиться к маститому Бертрану Расселу (в книге Монка он почему-то изображен несколько комическим стариком, не заслуживающим глубинного уважения) и не менее великому Джорджу Эдварду Муру (его автор биографии описывает более сочувственно – ведь Витгенштейн сохранил с ним дружеские отношения и во второй половине жизни, после того как с Расселом они навсегда охладели друг к другу), стоявших у истоков того, что теперь называется «аналитической философией».

Определение того, что что делал Витгенштейн и чем, собственно, занимался всю жизнь, а также то, в чем заключается вклад его в интеллектуальную историю цивилизации – важнейшая тема книги «Долг гения».

Монк тщательно перебирает влияния, нападавшие на Витгенштейна в разные периоды жизни. Много пишет об его интересе к Фрейду и психоанализу, упоминает

Гуссерля, хотя о связи/разнице аналитической философии и феноменологии можно было и побольше. Также, буквально через все жизнеописание, проходит важность для Витгенштейна книги «Пол и характер» Вейнингера, заразившей его любовью к логике¹, а также сексуальной фрустрированностью и стремлением к воздержанию, а также толстовство.

Им Витгенштейн увлекся еще на фронтах Первой мировой, когда носил в ранце толстовское переложение «Евангелия», под пулями в атаку. Именно Толстой, кажется, и явился одним из формообразующих факторов аскетичного образа жизни (будучи младшим ребенком из сверхбогатой семьи, Витгенштейн отдал все свои средства братьям и сестрам, в стремлении похерить личностные качества, став кем-то вроде *живой интенции*), попытки работать в сельской школе, продлившиеся, между прочим, три года.

Странные тексты и чужие практики, принципиально маргинальные для своего времени, косвенно подсвечивают и то главное, что Витгенштейн создал в жизни – основы нового взгляда на философию, философию математики и философию психологии, сущности которых, впрочем, и так никто не знает и знать не может.

Из-за чего нужно, между прочим, обладать большим запасом не только собственной мыслительной прочности, но и априорного чужого доверия. А с этим, кстати, возникают неожиданные проблемы. Перечитывая теперь публицистические и религиозные выступления Толстого (не говоря уже о сроке годности открытий Вейнингера или источниках «Легенды о Великом инквизиторе» из «Братьев Карамазовых», которых Витгенштейн цитировал наравне с толстовскими «Евангелиями»), видишь в них, прежде всего, швы и ограничения, накладываемые конкретикой времени. То, насколько гуманитарные открытия зависят от исторического контекста и социокультурной ситуации, наступающих на их универсальность.

Монк описывает, как после капитуляции Германии в 1945 году Витгенштейн был уверен, что передышка выйдет совсем небольшой. Испытание атомной бомбы приблизит начало Третьей мировой, которая уже не за горами. Проницательный с друзьями и учениками, во всем прочем Людвиг кажется фриком, существующим сугубо на своей волне и зависимым от предельной субъективности. Когда человек идет путями, проторенными до него предшественниками, открытия и достижения его легко масштабировать, даже если критерии отточены не окончательно.

Но как объективно оценивать предельно абстрактные выкладки в совсем беспрецедентных до того направлениях? Как и почему им следует доверять, если существуют лишь косвенные признаки истинности? Да и те перемешаны с констатациями влияний, не сильно стремясь к объективной истине украшающих.

Сам Витгенштейн терпеть не мог комментировать собственные сочинения, а еще больше раздражался, когда этим занимались другие – ведь он и сам еще только искал правильные формулы и точки взгляда на философию математики или философию психологии, чего уж ждать тогда от других, менее продвинутых людей?

«Он был убежден, что его книгу принципиально не поймут – *особенно* академические философы, – и это еще одна причина, почему она не была опубликована при его жизни. В переписанной версии предисловия он говорит: “Не без внутреннего сопротивления я передаю эту книгу публике”. “Руки, в которые она попадет, в большинстве случаев совсем не те, в каких мне хотелось бы ее видеть. Пусть она – и я желаю ей этого – будет совершенно забыта философскими журналистами и таким образом будет сохранена для читателей лучшего сорта”...» (488).

¹ «Логика есть закон, которому надо подчиниться, и только тогда человек вполне логичен – он является самим собой. В познании он обретает самого себя. Всякое заблуждение чувствуется как вина. Поэтому человек не должен заблуждаться. Он должен найти истину и может найти ее...» («Пол и характер», 282).

В этом неверии в чужое восприятие, Витгенштейн напоминает Иешуа Га-Ноцри (в дневниковых записях философа, кстати, полным полно отсылок к мессианским высказываниям Иисуса, зафиксированным апостолами), который не ждал ничего хорошего от хроник Левия Матвея.

Тем поразительнее появление юного Витгенштейна в Кембридже, когда Рассел практически с лету (всего за какой-то там триместр) признал в косноязычном и застенчивом иностранце потенциального гения всех времен и народов.

1 февраля 1912 года Витгенштейна, который до этого никогда формально не обучался логике, только приняли в Тринити-колледж, а уже апрельская переписка Бертрана Рассела, ставшего его научным руководителем, с леди Оттолайн Моррелл, полна захлебывающегося восторга человека, внезапно встретившего своего научного двойника.

Если глава о начале научной жизни Витгенштейна называется «Ученик Рассела» («...к началу летнего триместра отношения между ними стали меняться. Оставаясь формально наставником Витгенштейна, Рассел все больше и больше искал его одобрения...», 62-63), то следующая уже называется «Учитель Рассела»: летом Рассел хотел было написать книгу по «теории знания», способной стать главным его достижением. Однако, показав первые шесть глав будущего труда студенту Витгенштейну, Рассел бросил развивать этот текст, впад в практически суицидальное отчаяние.

«Он получил удар, который должен был разрушить его порыв и убедить Рассела, что он больше не способен на фундаментальную работу по философии. Обсуждая работу, Витгенштейн привел казавшееся относительно незначительным возражение против теории суждений Рассела. Рассел было подумал, что оно преодолимо. “Он прав, но мне кажется, все решит небольшое исправление”, – написал он Оттолайн. Через неделю он понял, что подорвана сама основа его работы» (96 – 97).

Критика Витгенштейна, за плечами которого, по сути, не стояло тогда еще вообще никакого научного и, тем более, писательского опыта, была не столько метафизической, сколько логической. И «когда Витгенштейн наконец смог представить свои возражения письменно, Рассел признал свое поражение...» (97).

Это я к тому, что всю свою жизнь Витгенштейн, производивший на людей впечатление безусловного гения, плел текстуальные паутины, значение которых могли и могут оценить единицы.

В главе «Истина не для печати» Монком описано, какие сложности преодолевал «Логико-философский трактат», прежде чем выйти отдельным изданием. Витгенштейну, разумеется, сочувствуешь – издательские отказы едва ли не довели его до самоубийства, но ведь и редакторов, вынужденных иметь дело с текстом непонятной глубины и размытого формата *«антиисторического экзистенциального метода философствования»*, тоже понять можно. Чудо, что «ЛФТ», написанный в итальянском плену, вообще вышел в ситуации тогдашнего чудовищного (послевоенного) экономического кризиса.

В 1930-м, когда Витгенштейн давным-давно уже стал общепринятой философской знаменитостью, тот же Рассел, подавая отчет руководству Тринити-колледжа, отмечал, что теории его ученика были «новыми, очень оригинальными и, несомненно, важными». Но: «Верны ли они, я не знаю. Как логик, который любит простоту, я предпочитаю думать, что нет...» (547).

Отомстил.

Для того, чтобы сделать жизнеописание Витгенштейна равновесным на фоне его трудов, необходим мастер, способный совместить сразу несколько противоречивых умений.

С одной стороны, он должен не просто разбираться в весьма противоречивом и сложном наследии философа, умея излагать его тезисы, насколько это возможно, доступно, превращая вино в воду, но и, с другой, обладать навыками беллетриста, даже драматического художника, умеющего отобрать в эффектной жизни своего персонажа самые лакомые фрагменты. Так как, и особенность эта проходит сквозь все жизнеописания, составившие коллекцию «Интеллектуальных биографий», герои серии настолько многосторонни и интеллектуально подвижны, что крайне сложно осуществить правильный отбор биографических и контекстуальных компонентов. Ведь такие жизнеописания могут быть развернуты в любую из потенциальных сторон. Из-за чего на первый план здесь выходит самостоятельность мышления самого биографа, свободно плавающего одновременно в паре-другой (порой даже не пересекающихся) жанровых полей и дискурсивных умений.

Подобные нарративы держатся на сложно организованной системе сдержек и противовесов, так как нарушение равновесия и впадение в одну из крайностей способствует либо научной засухе повествования, либо тотальной поповизации.

В своей жизни и творческой деятельности Рэй Монк учитывает наследие Витгенштейна, но не сидит на нем как на источнике воздуха или же как на тяжелом наркотике, сохраняя методологическую самостоятельность. Прочитав томину «Долг гения» до конца, понимаешь, насколько сложно, сталкиваясь с трудами и днями Витгенштейна и, тем более, погружаясь в его тетради на длительный срок, сохранить ясность и независимость своего ума.

Дело не в конкретике умозрительных выкладок, но в силе примера, дающего *метод* не только мышления, но и бытия, отформатировав свой «взгляд» до законченного и вполне фабрично упакованного продукта. Серия «интеллектуальных биографий», затеянных издательством «Дело», содержит плоды таких, что ли, «вспомогательных» форматов, если вспомнить жизнеописания Вальтера Беньямина (Ховард Айленд, Майкл У. Дженнингс) и Ролана Барта (Тифен Самойо).

Однако, с этой книгой Монка нужно знать пару лайфхаков.

Первый связан с весьма пространными фактологическими комментариями, которые написал, пользуясь служебным положением, научный редактор перевода Валерий Анашвили. Они, вроде бы, отрывочные и сугубо справочные, но крайне точно акцентируют внутренние течения монковской биографии, претендующей на максимальную объективность подачи.

Анашвили отыскивает в историческом, культурном и философском бэкграунде сецессиона, жизни Витгенштейна и тексте Монка всяческие неброские жемчужины и раритеты, чтобы развернуть их на полную мощь. Рассказав, например, о понятии «генида», введенном Отто Вейнингером в книге «Пол и характер», или же об идеологии отсутствующего орнамента у архитектора Адольфа Лооса. Единственным упущением здесь мне видится невнимание к Николаю Бахтину, кембриджскому другу Витгенштейна, про которого не сразу понимаешь, что это же совсем другой Бахтин, хотя тоже филолог, совершенно набоковский персонаж, преподаватель античной литературы в Саутгемптоне, а затем в Бирмингеме, где он становится доцентом лингвистики.

Вот как Фаня Паскаль, учительница русского языка, занимавшаяся с Витгенштейном и его другом Фрэнсисом Скиннером (начитавшись Толстого, один из них отправился в большевистскую Россию искать работу, а другой остался ждать товарища на безопасном от большевиков расстоянии), пишет в своих «Личных воспоминаниях» о Николае Бахтине, являющимся очередным зеркалом, внезапно отразившем психологические особенности самого Витгенштейна:

«Николай Бахтин, эмигрировавший из России во время революции, но неожиданно к началу второй мировой войны ставший пламенным коммунистом, был вдохновенным педагогом и лектором. В его характере было что-то не позволявшее ему переносить свои работы на бумагу, и я не знаю никаких других его завершенных сочинений, кроме нескольких эссе и лекций, посмертно изданных профессором Остин Дункан-Джойс в отдельном томе, посвященном памяти Бахтина. Что я действительно знаю и что само по себе могло бы привлечь внимание к этой дружбе – это то, что Витгенштейн по-настоящему любил Бахтина, был необыкновенно счастлив и весел в его присутствии и никогда не бросал его, в то время как с другими проделывал это запросто. Это был тот редкий случай, когда Витгенштейн принимал человека таким, какой он есть. И все это – несмотря на то, что внешне и внутренне они были абсолютными противоположностями. Бахтин отдавался крайностям страсти, неконтролируемому избытку чувств и экспрессии. Казалось, он, как вулкан, всегда на грани взрыва. Он страдал иррациональными страхами и навязчивыми идеями, любил экспансивность, был большим гурманом. Будучи бездетным, Бахтин, в отличие от Витгенштейна, находил отраду не то что в детях – в кошках. И все же их объединяли особого рода детская невинность и нелюбовь ко всяческим банальностям...» (99 – 100).

Проблема в том, что комментарии Анашвили нигде в основном тексте не обозначены и нужно, для начала, обнаружить их в конце книги, после списка литературы, но перед именным указателем, а затем держать в голове страницы, к которым они полусаочно прикрепляются.

Второй лайфхак относится к эпилогу витгенштейновской биографии, в которой внезапно выясняется, что одна из задач, которые веля Рея Монка в исследовании, это полемика с жизнеописанием Уильяма У. Бартли III, где жизнь и исследования Витгенштейна не спаяны, как у Монка, но, как раз, разведены по полюсам. Де, мухи отдельно, котлеты – отдельно, что видно уже из самой структуры книги Бартли, породившей, несмотря на свою традиционную бинарность, большую полемику. В ней четыре главы: нечетные посвящены биографическим обстоятельствам жизни философа (ранние годы, сгруппированные вокруг работы Витгенштейна в сельских школах горной Австрии после Первой мировой, а также его последние, «закатные годы», описываемые на фоне поздних произведений), четные, соответственно, пытаются объяснить философское значение того, что делал Витгенштейн в самом начале и в самом конце своего пути. Внутри этой книги Бартли, таким образом, выделяет что-то вроде интерпретационных резерваций, демонстративно не смешивая принципиально разные жанры.

У Монка, кстати, герменевтика витгенштейновских текстов получается лучше, нагляднее, что ли. Она, во-первых, изящнее инкорпорирована в биографический нарратив с многочисленными фактологическими подпорками и отвлекаловками, из-за чего, во-вторых, аналитическая нудятина не мешает чтению. Она его даже не притормаживает. Возможно, Монк именно такие книги, как у Бартли, имел и ввиду, когда писал в предисловии о традиции разделять жизнь и труды: «хотя интерес к Витгенштейну колоссален, он, к сожалению, является досадно однобоким: некоторые изучают его работу, не принимая во внимание его жизнь, а другие находят жизнь увлекательной, но работу – непостижимой...» (15).

Полемизирует Монк, впрочем, не с особенно сложными аспектами логико-философских трудов Витгенштейна, но с обнаружением в личной жизни философа скандальных подробностей. Которых, как ему кажется, не могло быть. Например, из-за особой трепетности подходов Витгенштейна, всю жизнь находившегося под влиянием книги Вейнингера «Пол и характер», к сексу.

«Интерес, вызванный книгой Бартли, однако был направлен, в основном, не на ее главные темы, но почти на сенсационные утверждения, которые он делает в начале книги

относительно сексуальности Витгенштейна. Ажиотаж вокруг этих утверждений, по моему, несоразмерен, но я чувствую себя обязанным сказать что-то о них. Когда я писал эту книгу, чаще всего меня спрашивали: “А что вы скажете о Бартли?”, что означало: какой ответ я собираюсь дать в моей книге на утверждения о гомосексуальной распушенности Витгенштейна?» (582)/

Сам Монк пишет о личной жизни философа нейтрально. Не затушевывает, но и не выпячивает «непристойное», стараясь почаще цитировать переписку Витгенштейна с друзьями и близкими. Перекладывая, таким образом, «бремя решений» на степень читательской испорченности.

Лайфхак в том, что книга Бартли выходила (под одной обложкой с мемуарами Фани Паскаль и даже Нормана Малкольма, не говоря о других материалах, в том числе кембриджских лекциях Витгенштейна 1930/1932 в записях Дж. Кинга и Д. Ли) по-русски еще в 1993 году, и я даже тогда ее отрецензировал.

Сборная солянка из мемуаров и первоисточников под названием «Людвиг Витгенштейн: человек и мыслитель» была собрана и откомментирована Вадимом Рудневым для издательской группы «Прогресс, Культура» в замечательных переводах и вполне доступна. Я бы вообще предложил изучить ее перед тем, как браться за монковский «Долг гения». Чтобы во всей красе оценить ее самостоятельность, остроумие и благородство.